

На закате, когда ни одной живой души уже не встретишь на улице, когда падающее за горизонт светило успевает окрасить предметы в невозможные во весь остальной день и потому неизменно волнующие тона; когда длинные, корявые тени, похожие на тоскующих призраков, расползаются от домов и деревьев; когда две прекрасные и пугливые птицы — тишина и неподвижность — прилетают из неведомого края и складывают свои крылья, в этот час кажется, что Берендеевка — не просто обнищавшее и опустевшее село у станции, но действительный уголок Берендеева царства. Той русской сказки, где кричат кикиморы на болоте, где леший плачет в лесной глуши и где кресты, словно сотканные из золотых лучей, неподвижно парят тут и там в воздухе, ограждая Русь от злых чар и наваждений.

Но обманчив предзакатный свет, искажающий цвета и очертания. И нет больше Берендеева царства. Лишь забрезжит утро, как всё предстанет в настоящем своём виде, и то, что в сумерках казалось прекрасным, покажется вдруг жалким, что было страшным, исчезнет вовсе, а то, чего никто не видел, вдруг явится и потрясёт своим безобразием.

Те несколько переплетающихся улиц вокруг церкви называют в народе “Лизки”. Хотя у каждой улицы есть своё название, едва различимое на чудом сохранившихся ржавых табличках, приколоченных кое-где к домам, эта часть села имеет особое прозвище. Лизкой звали жившую в похожей на конуру избе слабоумную, которую сельские боголюбивые старухи почитали, однако, юродивой. Но если и допустить, что Лизка юродствовала, то уж точно не Христа ради.

Просто от самого своего рождения, а может, и от хаотического зачатия была Лизка обделённой и убогой, так что даже говорить толком не выучилась. И всю свою недолгую жизнь — а умерла Лизка шестнадцати лет — она только и делала, что мычала. И когда стали потом вспоминать, то выяснилось, что никто и никогда кроме слова “деги”, что на Лизкином языке значило “деньги”, от Лизки не слыхал.

Случалось Лизке и неистово кричать, словно от страшных болей. А иногда высказывала она на улице и пугала прохожих. Даже те, кто знал Лизку, а знало её всё село, невольно вздрагивали, когда она вдруг появлялась и дёргала за рукав, приговаривая: “Деги, деги...” Так что стоит ли удивляться проклятиям, а то и тумакам, которыми нет-нет да и награждалась Лизка. Но бывало это в сердцах и с перепугу. А нарочно зла Лизке никто не делал. В народе всегда не то, что любили таких людей, и даже не то, что жалели, а как-то побаивались и, как злых духов, старались задобрить — отсутствие любви нередко восполняется страхом.

Пробовал отец Николай, живший по соседству, рассказывать Лизке о вере. Лизка внимательно слушала, а когда отец Николай умолк, сказала: “Деги, деги...” И отец Николай оставил свою проповедь.

Отчего Лизка умерла, никто не знал толком. Говорили не то что-то о сердце, не то о лёгких. Версии высказывались разные, включая самые невозможные. Так, Лизкина бабка утверждала, что Лизку-де “ангелы взяли”. И что будто бы она сама видела, как среди ночи появились откуда-то “люди, не люди... а в белых одежах”, взяли под руки Лизку и пошли по лунной дорожке. Все знали, что у бабки роман с Бахусом, но всё равно верили. Хотели верить.

Когда Лизку хоронили, день был влажный, с изморосью. И это тоже работало на Лизкин авторитет — повторяли: “Природа плачет”.

Про окраину села, где стояла церковь и где ещё совсем недавно можно было услышать: “деги, деги...”, стали говорить: “...это там, где Лизка жила”. Потом: “где Лизка”. А там и просто: “Лизки”. О тех, кто жил там, говорили: “Живут на Лизках”.

Одним из примечательных обитателей Лизок был отец Николай, пожилой настоятель Берендеевской церкви, до недавнего времени пустовавшей, а потом вдруг наполнившейся старухами, как стакан молока, оставленный летним днём где-нибудь на открытой веранде, мошкаркой. Тому, что народ Божий потянулся в храм, отец Николай радовался. Хотя и отмечал про себя, что одни тянутся по вере, другие — от скуки, а третьи — за неимением другого места, где бы можно было, пусть на время, сбросить груз содеянно-го доньне, неотвязно носимый, точно горб, истязаяющий и уродующий.

Несмотря на пестроту и неказистость, “народ Божий” оказался сбит в такое прочное целое, что раз отколовшийся уже не мог вернуться назад, как невозможно приставить на прежнее место отбитый кусок вазы или глиняной чашки. Зато и новичков, неискушённых и не успевших показать норов, приход затыгивал и держал крепко. Точно гонимое ветром облако или стая оводов, носящихся над пажитью, в пространстве и времени Берендеевки приход не делился на личности и не имел лица. И если что-то случалось внутри прихода, трудно было сказать, кто виноват или, напротив, благодаря кому случилось.

Был отец Николай одинок — попадья умерла уже очень давно, через год после венчания, когда только окончивший семинарию батюшка лишь вступил на избранный путь. К матушке своей отец Николай исходил нежностью и любил, бывало, смотреть на неё спящую. В другой раз он жениться не мог. Но образ оставившей его жены стал постепенно как будто таять в памяти отца Николая, пока, наконец, не осталась в воспоминании лишь её рука от запястья до локтя — белая, полная, гладкая, похожая на сахарную голову.

Жилищем батюшке служила крошечная избушка, сложенная из толстых потемневших брёвен. Такими толстыми были брёвна и такой маленькой сама избушка, что казалось, будто срублена она из огромных поленьев, наколотых какими-то великанами для исполинской печи.

Старое лицо отца Николая, опутанное морщинами и заляпанное пятнами, небрежно посаженными временем, с развевающейся паутиной волос и бороды похоже было на замшелую лесную корягу. Но глаза, отказавшиеся выцветать и остававшиеся синими, оживляли это лицо. Эстет и любитель изящного отметил бы сходство отца Николая с врубелевским Паном. Только в отличие от лукавого Пана, лицо отца Николая было наивно и сверх всякой меры добродушно — никогда не находила на него тень раздражения или недовольства.

Вокруг себя смотрел отец Николай то с восхищением, то с кротостью. Мир Божий приводил в восторг этого очарованного человека, перед которым точно приоткрыта была завеса вечности. Казалось, что, заглядывая за неё, отец Николай видел и понимал нечто, недоступное всем остальным. Оттого-то радость не оставляла его, оттого-то жил отец Николай, словно читал интересную книгу.

Сотворив мир, Господь остался доволен. И, глядя на отца Николая, можно было подумать, что он присутствовал при сотворении и приобрелся Господней радости, прозревая с тех пор в каждом существе, в каждой вещи кругом себя десницу Творца.

И мечталось отцу Николаю, что, быть может, наступит такое время, когда в уединении и тишине, чтобы не отвлекал никакой суетный голос, в сосредоточении и молчании услышит он Ангельский хор и дыхание Духа. Но пока был приход, пёстрый и беспокойный, выслушивать множество визгливых и скрипучих голосов которого было долгом отца Николая.

Минул год со дня смерти Лизки, как в Берендеевке вдруг объявилась Маринка — её мать. Пьющей и оставшейся в городе без работы Маринке надлежало месяца, кажется, через три разрешиться от бремени. С тем она и прибыла на родину, посчитав, очевидно, что лучшего места ей всё равно не найти. Но родина встретила Маринку неприветливо.

В Берендеевке поджидала её целая свора имён и прозваний, которые, едва Маринка появилась у околицы, повыскакивали, точно собаки из углов и подворотен, и разом повисли на ней. Прозвища, из которых самым удобопроизносимым было “Непугёвая”, отпускались по поводу Маринки односельчанами в награду за тот образ жизни, который она вела с юных лет и который неизменно оскорбляла добродетельных земляков.

Рано узнавшая вино, рано вкусившая любовь, Маринка не видела и не хотела другой жизни. Когда-то Маринка была как все. Но именно это незаметное обстоятельство и определило всю дальнейшую судьбу Маринки. Когда начала она чувствовать своё тело, когда тело стало звать к ней, кокетничая и всячески стараясь привлечь к себе её внимание, Маринке вдруг вздумалось представляться перед сверстниками взрослой, а перед взрослыми — как-то по-особенному свободной. С этой целью Маринка отрезала себе косу, выстригла на лбу чёлку, как у обитателей конюшен, и при помощи таблеток гидроперита из русой сделалась ярко-жёлтой. Следующим шагом на пути Маринки к свободе стали сигареты “Прима”, продававшиеся в сельпо и не отпускавшиеся продавщицей Валентиной учащимся. На селе было известно, что продавщица Валентина не самовольно попирает права юношества, но будучи в сговоре с директором школы и сельсоветом. Однако препятствие в её лице было вполне преодолимо — находился-таки какой-нибудь сердобольный, покумавший на деньги школьников сигареты, а после обильно угощавшийся из пачки.

Поначалу Маринка, чья неокрепшая душа сделалась заложницей крепнущего тела, “стреляла” сигареты у мальчишек, но скоро пришла к пониманию, что распорядиться пачкой нужно самой. И как-то возле сельпо она подошла к тузлуковщику Коле и, протянув ему шестнадцать копеек, сказала как можно развязнее:

— Слышь, Коль?.. Возьми мне “Приму”...

Коля смерил Маринку взглядом и понял, что сигарета в зубах этой юной блондинки — только начало какой-то чадной феерии, в которой, возможно, найдётся и для него место.

Коля кушил Маринке “Приму”, и с тех пор они начали гулять. Так это называлось.

Ходили на Волчью гору, на гулянку в Погореловку — соседнюю деревню. Потом Коля увлёк Маринку в горох. Трескучие гороховые стебли кололись, точно выгалкивали вон непрощенных гостей. А Маринке нравилось и не нравилось. Коля был некрасивый, прыщеватый, с острым кадыком, глядя на который можно было подумать, что Коля проглотил грецкий орех, и этот орех так и застрял у него в горле. Маринка смотрела на кадык, и ей нестерпимо хотелось его потрогать. К тому же от Коли всегда пахло чем-то кислым, и Маринка невольно морщилась от этого запаха. Но Коля был лет на десять её старше, а Маринке льстило гулять со взрослым парнем, и она терпела Колю.

Скуку жизни можно преодолеть либо приняв её как непреложную и непобедимую данность, либо преобразив саму жизнь, либо одурманив себя. Самые несчастные люди — это те, кто рано приучился скучать, кто понял или хотя бы догадался, что земная жизнь трагична и уродлива, но, поняв или догадавшись, не нашёл в себе ни силы, ни таланта, ни дерзновения изменить хоть что-то вокруг. И несчастные до конца своих дней бывают, словно эриниями, гонимы не то тоской по утраченному блаженству, не то невозможностью утолить эту тоску...

Потом, чтобы скрыть последствия своей гороховой любви, Маринка сделала отчаянный шаг, а Коля сделал вид, что не знает Маринки. Но появились другие парни, охочие до суетных увеселений, неотъемлемой частью которых должна быть согласная на всё женщина. И феерия началась.

Мать Маринки вдовела уже много лет и на этом основании почитала себя обиженной, а потому ни во что, кроме своей обиды, вникать не хотела. Оттого, что она уж очень пристально всматривалась в себя, лелея обиду, ничего другого ей просто не удавалось увидеть. И лишь наслушавшись иногда от возмущённых товарок о поведении Маринки, мать принималась её воспитывать, охаживая полотенцем или другой какой тряпкой и повторяя те обидные слова, что уже вереницей тянулись за Маринкой по селу. Но потом этот пыл проходил, и она снова погружалась в какой-то тупой эгоизм, делая только то, чего нельзя было не делать. Так, например, нельзя было не выходить на работу — работала Маринкина мать мездрильщицей шкур на фабрике, — нельзя было не варить обед. И она ходила и варила. Да и суливший забвение Бахус давно уже тронул её сердце.

К тому времени, как Маринка явилась в Берендеевку на сносях, товарки её матери с фабрики образовали приход. Околоцерковная жизнь придавала обычным явлениям необычный смысл и окрашивала в причудливые краски. Смерть дурочки Лизки превратилась в кончину праведницы, приезд Маринки — в апокалиптическое явление блудницы. И если в Маринку не полетели камни, то исключительно благодаря прямому указанию свыше, так красноречиво и трогательно переданному евангелистом.

Отец Николай помнил Маринку и слышал, что о ней говорили. И потому, когда она появилась в храме — некрасивая, испитая, в старом лёгком пальто, не сходявшемся на животе, — он поспешил к ней навстречу и как можно более ласково спросил:

— Ну что, Маринушка?

Отцу Николаю представилось, что Маринка пришла с покаянием. И хоть он гнал от себя ненужные мысли, но успел всё же подумать, что естественным для Маринки было бы пасть сей же час на колени и умыться слезами, вздев или заломив руки. Но Маринка, скользя глазами по верхнему ярусу иконостаса, откуда взирали вниз обеспокоенные пророки с развёрнутыми в руках свитками, сказала сильным голосом:

— Жрать нечего...

Сказала небрежно, не глядя на отца Николая, тупо шаря глазами по иконостасу, точно силясь понять, к кому бы тут лучше обратиться за куском. И казалось, что Маринке просто хотелось отговориться от назойливого попа и что своим словам она не придавала смысла, который был в них заложен. Но отец Николай, вдруг устыдившийся чего-то и с болью рассматривавший

жалкую фигуру захожанки, не сомневался, что именно так, как говорила Маринка, или очень близко к тому, дело и обстояло. И для Маринки, и для её непутёвой матери, и для неповинного пока ни в чём, не успевшего даже родиться младенца.

Отступив от Маринки в смущении, отец Николай уже знал, что ему делать.

Жалования, положенного отцу Николаю приходом, по праву распоряжавшегося и хозяйством, и финансами храма, хватало одинокому и неприхотливому священнику с лишком. Что было нужно старику, первым и единственным удовольствием которого была молитва? Лоскут крашенины да кус квашенины — сыт и одет. Вот почему на кухне у отца Николая, на полке с крупами, в жестяной советской коробке из-под конфет хранились российские банковские билеты. Образу жизни и скудными потребностями отца Николая жестяная коробка была обязана тем, что билеты в неё только укладывались. Но никогда не изымались. И вот впервые за всю историю своего служения сейфом жестяная коробка с башнями Московского Кремля на крышке приоткрылась для того, чтобы опустеть.

Башни Кремля перемигнулись красными звёздами, петли скрипнули деловито, старческая рука опустилась в коробку и, силясь захватить содержимое, процарапала несколько раз по дну окостенелыми ногтями. Наконец крышка захлопнулась, и пустая коробка отправилась на полку к крупам. А отец Николай отправился к соседкам.

На другой день в Берендеевке обсуждали исчезновение Маринки с крупной суммой, подаренной ей отцом Николаем. Кто-то восхищался старым священником, кто-то злорадствовал, а кто-то даже уверял, что “такие деньги просто так не дают”, намекая на причастность отца Николая к интересному положению Маринки. И только приход хранил молчание. Пока наконец чей-то скрипучий голос не произнёс язвительно:

— Видать, много мы ему платим...

И хоть все знали, что отец Николай не покушался на чужое, что деньги, исчезнувшие вместе с Маринкой, действительно были его деньгами, но где-то с самого краю прихода, а может, напротив, в сердцевине его, что-то вдруг шевельнулось. Тотчас зашевелилось что-то и рядом, а в следующий миг движение передалось уже во все концы. И приход всколыхнулся. Пестрея павловопосадскими огурцами и розами, приход раскинул множество рук со скрюченными полиартритом пальцами и завизжал, заскрипел на множество голосов.

Кассу создавал приход и распоряжался ею тоже приход. И вот теперь выходило, что оторванные от дома и принесённые в церковь рубли и копейки оказались, с лёгкой руки отца Николая, в кармане у той, о которой лучшее, что можно было сказать, — это “непутёвая”.

В субботу на вечерню собрался весь приход. Глухо постукивая палками, пришли даже те, кому трудно было ходить. На службе вели себя заговорщицы: переглядывались, перешёптывались, те, кто стоял ближе к солею, минутно крутились и делали знаки тем, кто пришёл позже и стоял у входа. А когда вечно суетящаяся Наталья Ивановна обошла всех и с озабоченным лицом, глядя на которое можно было подумать, что началась война и Наталья Ивановна торопится сообщить об этом, поведала о чём-то на ухо каждому, по церкви, словно лёгкий ветерок, разнеслись слова: “Не расходимся... не расходимся... не расходимся...”

Только отец Николай ничего не слышал и ни о чём не подозревал, но служил самозабвенно, шествуя мимо заговорщиц в клубах дыма кадильного, точно Сам Господь Саваоф среди предавших Его первых людей.

А когда окончилась служба, приход взял в кольцо отца Николая в притворе. Сначала никто не решался заговорить о “деле”, и речь шла о пустяках. Кто-то нестати заметил, что “весна в этом году затяжная, хотя и Пасха была ранняя”. Отец Николай отвечал что-то о терпении и о том, что “Господь, должно, скоро уж порадует нас солнышком”. Кто-то сказал, что “сажать пора, а в огороде всё снег”. И отец Николай с неизменной улыбкой

ответил, что “од солнышком стает, а во влажной земле взойдёт лучше”. И все эти слова — о солнышке, о тепле, о скорых всходах — ублаготворили старух и как будто притушили искры негодования, принесённые для того, чтобы, быв брошенными к ногам отца Николая, разгореться в пожар. Пожар той бессмысленной, но питающей душу злобы, которую для удобства и самооправдания нередко называют любовью к справедливости. Но в то самое время, когда показалось, что вот сейчас все разойдутся и нелепая история с непутёвой Маринкой будет забыта навесегда, раздалось скрипучее:

— Да уж... кабы не огород, околели бы...

И тут же, словно опомнившись и опасаясь, как бы снова не подпасть под обаяние отца Николая, старухи заголосили:

— ...Живём небогато, надо думать!..

— ...Последнюю копейку от себя в церкву несём!..

— ...А он нашу пенсию — шалаве Маринке!..

— ...Если лишние, так уж вернул бы!..

Отец Николай пробовал что-то отвечать, но его не слушали. В лицо ему летели новые обвинения:

— ...Своих полюбовниц на наши деньги содержит!..

— ...Постыдился бы! Старый уж!..

Кругом себя отец Николай видел то сморщенные жёлтые щёки, то налитые красные. От духоты и расплывшегося запаха затхлости закружилась голова у старика, не всегда даже и понимавшего, кто задаёт ему вопрос. Куда бы он ни повернулся, перед ним, точно нанизанные на нитку, прыгали старушечьи лица с колючими глазками, с топорщащимися, похожими на стерню остатками бровей. Ему стало тяжело дышать, но вместе с тем вдруг нестерпимо жалко сделалось набрасывающихся на него старух. Как человеку, отправляющемуся в края благословенные, бывает жалко тех, кто остаётся в опостылевшем мирке. Он вдруг увидел, что старухи корчатся от неведомой, мучительной боли, превозмочь которую нет сил, а исцелить — невозможно.

— Господи! — вдруг воскликнул он. — Не ве...

Но закончить он не успел, потому что в это самое время старухи исчезли, и звуки музыки, от которой в восторге замирала душа, донеслись до его слуха...

Когда отца Николая хоронили, день был пасмурный, влажный с изморосью. Улицы щетинились грязью, вода в лужах брезгливо морщилась. Но к вечеру прояснилось. И, не успев упасть за лес, красным масляным шаром стало солнце. Берендеевка опустела и преобразилась.

А ещё через год случился пожар в Берендеевке. Как и отчего зашлась пламенем пустовавшая избушонка отца Николая, осталось неизвестным. Спасти осиротелый дом никто и не пытался. Думали только, как бы не дать огню распозлзться по соседним дворам. И уже к вечеру на том самом месте, где жил отец Николай, стояла среди груды пепла и головней обугленная печка, точно пьяная баба, сбросившая враз одежды. Но когда высох остуженный дождём пепел, когда расточился смрад мокрых углей, печку разобрали на кирпичи. И ничего, кроме церкви, не напоминало более об отце Николае. Слово его никогда и не было.